**Вопросы и задания**

1. Какие темы стоят в центре полемической статьи Кевина Платта?
2. По каким линиям идет критика неманифеста Сергея Козлова?
3. Каков главный аргумент Кевина Платта?
4. Какой выход (сценарий развития филологии) предлагает Кевин Платт как представитель американской науки?

**Катакомбы филологии**

Неманифест Сергея Козлова — вдохновенная защита автономии гуманитар­ной науки, добывающей знание в относительной независимости от институ­ционального, социального и экономического давления. Мне думается, гуманитарий должен быть увиден тогда как некое подобие монаха, хранящего культурные сокровища античности через все темные века, в предвосхищении их нового открытия Возрождением. Описанный С. Козловым ученый-прак­тик сидит как отшельник один в библиотеке или архиве. Его или ее работа мотивирована полумистическим актом интуиции и подлежит суду только не­большой группы экспертов или же будет постигнута и признана важной только потомками. «Настоящий ученый» поддерживает пламя знания, не­смотря на сокрушительные силы моды, экономической жизни и прагматиче­ского социального контроля, включая полицейский надзор. Такое видение благородной автономии ученых не может не вызвать трепета у всякого, кто стремится к жизни исследователя и преподавателя, зиждущейся на глубокой любви к культуре и обучению, — что, как я надеюсь, можно сказать о подав­ляющем большинстве ученых-гуманитариев.

Но, к сожалению, этот образ — фантазия. Гуманитарное научное знание не пользуется и никогда не пользовалось такой абсолютной автономией. Это утверждение банально до трюизма. Институциональные структуры (уни­верситеты, институты, дисциплины, программы, журналы, грантодатели, профессиональные объединения) определяют образовательную траекторию ученого-гуманитария, его профессиональный рост, возможности публикации и условия трудовой занятости. Привилегия выбирать исследовательскую тему по «интуиции» даруется только тем исследователям, которые снискали уважение коллег и достигли институционального авторитета и экономи­ческой обеспеченности. Уже по этой причине «интуиция» исследователя, о которой говорит С. Козлов, — тоже фантазия. Студент или начинающий ученый-гуманитарий, будучи вполне зависим от старших коллег и академи­ческих структур, вынужден выбирать те темы, которые гарантируют его или ее профессиональный рост. К тому времени как он или она становит­ся зрелым ученым, его или ее «интуиция» уже сильно трансформирована, «перевоспитана» — в противном случае он или она не найдет места в про­фессии. Говоря коротко, нравится нам это или нет, гуманитарное знание имеет место только в определенных институциональных контекстах. Выбор исследовательских тем всегда обязан действию больших социальных и ин­ституциональных механизмов отбора специфических форм знания в куль­туре, которым и отводится привилегированное место. Что это за «большие механизмы», которые руководят нашими исследовательскими действиями и задают нашу дальнейшую карьеру? Не погружаясь слишком глубоко в этот вопрос, можно сказать, что они состоят из культурных канонов, националь­ных и цивилизационных традиций, образовательных программ и политиче­ских событий.

Если не принимать в расчет варианта отказа от всех институциональных позиций и занятия гуманитарными науками в качестве хобби или сокрытого от общества «благородного поиска» (например, писать статьи «в стол», в на­дежде на новый Ренессанс), я не вижу никакой возможности реализовать предлагаемую С. Козловым модель ученого-гуманитария как практика, ве­дущего монашеский образ жизни.Как бы ни была привлекательна фантазия об «интуитивном исследовании», я думаю, что в нашей научно-гуманитарной деятельности лучше обходиться меньшим количеством иллюзий. Я разделяю желание найти область внутри академической жизни, где можно будет от­стаивать политические и культурные ценности, взлелеянные дорогими мне традициями, и где можно будет создавать прозрачное видение истории, — но успех этого предприятия зависит от нашего понимания институциональных условий, которые и предшествуют всем нашим исследовательским замыслам. Мы способны разве что отстаивать наше собственное видение, когда мы про­тивостоим этим обстоятельствам и учимся влиять на них и ставить их под свой контроль — но никак не можем притязать на то, что этих обстоятельств не существует.

Что мы видим, когда обращаем серьезное внимание на основные институ­ционные обстоятельства гуманитарных дисциплин? Ясно, что условия куль­турной жизни претерпевают значительные изменения, что эти перемены рано или поздно найдут отражение в наших институтах и что наша исследователь­ская деятельность должна меняться вместе с этим на более глубоком уровне, чтобы не оказаться устаревшей.

Высокая культура — канон великих произведений и национальных тра­диций в области литературы и искусства — все менее и менее релевантна нынешним глобализированным, технократическим, визуальным, презентистским, модерным сообществам. Дальше всего этот процесс зашел в США; но он всемирен. В результате образовательные, социальные и политические приоритеты, на которых в прошлом держалась гуманитарная наука, стреми­тельно истощаются. Мы можем сожалеть об этой трансформации, но мы ни­куда от нее не денемся. Вопрос, который стоит на повестке дня, — это не «Какой метод мы должны применять к нашим исследовательским темам», но «Как мы можем оправдать наши дисциплины?».

Этот вопрос, конечно, звучит в США несколько иначе, чем в России, ввиду различий между институциональными и дисциплинарными структурами этих обществ. Дисциплина, которой я занимаюсь, — это не филология, а то, что по-русски называется «литературоведение» — в университете я изучал русский Серебряный век, и сейчас я профессор славянских языков и литера­тур. В английском языке редко употребляется термин «филология». Но это различие между русским и американским контекстами само по себе поучи­тельно и важно. В своей статье С. Козлов упоминает лингвистику и филоло­гию в собственном смысле как две «дисциплины филологического цикла». В США лингвистика уже давно перестала восприниматься как гуманитар­ная дисциплина: это социальная наука, обычно связываемая с когнитивной наукой, психологией и нейробиологией. С другой стороны, филология по большей части прекратила свое существование как отдельная дисциплина. В США «осень филологии» давно уже завершилась.

Такие судьбы филологии и лингвистики говорят о разных возможностях будущего для дисциплин «филологического цикла» как в США, так и в Рос­сии. В прошлом гуманитарные дисциплины способствовали самовоспроиз­водству канонов культурного знания. Ученый-гуманитарий играл важную роль «внутри» культурной жизни — как критик, просветитель и «жрец» куль­турного канона. Такая модель культурной жизни стремительно отходит в прошлое, и сразу же приходит в упадок традиционная роль ученого-гумани­тария. Что делать? Одна из возможностей — продолжать работать так, как мы работали всегда: будучи, похоже, последним поколением филологов в США, мы можем «тонуть вместе с кораблем», уйти в затвор библиотек, стать монахами или отшельниками — священнослужителями без паствы. Или же, как я предлагал в одной статье, ранее опубликованной в «НЛО»[11], мы можем заново изобрести нашу профессию, изучая культуру, как прежнюю, так и те­перешнюю, «извне», — как это сделали лингвисты, революционно преобра­зовав само изучение языка в последние сорок лет.